

## Триоль. Двудольная длительность делится на три. (Десять лет назад)

**Н**и разу не слышала ни от кого слова «люблю». Ни разу не упрекнула в этом мужа. Ни разу в голову не пришло упрекнуть...

### Она

— Как ты меня нашла? — удивился он.

— А я и не искала, знала: вот сейчас выйду на улицу и так захочу тебя увидеть, что непременно встречу. Надо захотеть, не пробовал?

Он пожал плечами. Интересно, о чем он сейчас подумал? Обрадовался встрече? Это вряд ли. Скорее всего, он и не вспоминал о ней ни разу, да и сейчас, похоже, едва узнал. А она... Она сама

себе не могла поверить, что так заболит им. Ну почему, ну как это получается, что внезапно в тебе раз — и вспыхнуло, будто новая жизнь загорелась. И появилось ощущение, словно она ждала этого всю жизнь, шла к этому, готовилась. Но сама не знала об этом, не догадывалась. Сын, муж, дом, работа. Работа, дом, муж, сын... Ничего нового, необычного, никакой особенной печали, у всех так. И вот случилось.

— Это ты сама? — спросил он, указав на сумочку.

Она ответила, что сама. И вот этот шарф и шапочку. У нее даже пальто есть, которое она сама придумала и пошила. «Не хочу, как у всех», — сказала себе однажды.

Она ведет его в дом к двоюродному брату. И ведь действительно — ведет. Это ерунда, это не имеет никакого значения. Сколько прошло со дня их первой встречи? Месяц и три недели. И все это время она искала, не сомневаясь, что найдет... Старая Мятличиха выставилась в окне, Юрке все будет доложено. А ему что, ему наплевать. Он недавно вышел (вывели, конечно) из трехлетнего запоя и теперь новое свое состояние пытается приспособить к жизни. Понял, что наоборот не получится. Всякое на себе испытал, а жизнь текла себе своим чередом, не обращая на него внимания. Едва совсем не выпал из этого всеобъемлющего потока, да на счастье руки егогодились — автомеханик от бога. Сын-то ее по Юркиному примеру в политех на автотракторный пошел. А с кого еще пример брать? У отца работа закрытая, да и сам он на семи замках. Мужа Ольги Юрка не любит, потому семьями они не рождаются. Так что Юрка, без лишних вопросов оставивший ей ключи от дома, конечно же, никому ничего не скажет. Да и сказал бы... В конце-то концов!

Ей кажется, что он тяготеет происходящим, очевидно, злится на себя: дал собой распоряжаться, управлять. Мужчины больше мнят себя самостоятельными, чем это есть на самом деле. Потерпи, миленький, ну, немножечко совсем потерпи! А Ленка Юркина неряха, одежда по стульям развешана, на столе крошки от завтрака...

Она понимала, что не следует сейчас давать ему возможность думать, будто от него требуются какие-либо действия или слова, и потому говорила и говорила сама. О чем? Да собирала всякую

ерунду из своей прошлой жизни, когда она работала в заводской медсанчасти.

— У нас там два водителя были. Один Трынов, лежал все время. Ему говорят: «Николай Васильевич, надо на выезд. — На лице негодование, будто его отозвали из очередного отпуска. — За деньгами ехать, зарплату получать». Он: «Не поеду. Пешком можно дойти, на трамвае». — «Так деньги же, нельзя по улице с ними. Ты хочешь, чтоб мы без зарплаты остались?» — «Так у меня машина какая? Встанет где посреди дороги, а надо больного везти. Вот была бы новая...» Наконец, уговорили. «Сейчас Лену из поликлиники заберем, по пути ведь». — «Лену? Не поеду! Что я, такси, что ли?» Пожаловались главврачу, тот ему: «Николай Васильевич, я ведь могу приказать!» — «Приказать!? Да я автогаражу подчиняюсь, буду я тут у вас на побегушках!..» И при каждом слове приговаривает «конкретно». Новая машина пришла. «Что я, новую машину буду гонять туда-сюда? Вы мне ее тут быстро упестуете!..» А второй старичок, год до пенсии, Иван Васильевич. Тоже лежит целыми днями. Как на выезд — ах, чтоб вас всех парализовало!..

Он сидит безучастный ко всему окружающему, погруженный в какие-то далекие свои мысли, похоже, и не слышит ее. Потерпи, миленький, потерпи! Я смогу. Я знаю. Скоро, сейчас, послушай вот. Не важно, совсем не важно, что я тебе говорю. Говорю, говорю...

— А еще у нас два санитары были на практике, студенты... Аркаша и Андрей, друзья с детства. Аркаша полный такой, положительный весь, отец у него профессор. Андрей — противоположность — высокий, худой, востроносый, любитель выпить. Заведующая ему: «Учитесь делать инъекции». — «Зачем? И полгода не пройдет — я сам буду вам такие указания давать». С дежурства звонит Аркаше домой: «Аркаша, я тебе должен пренеприятную вещь сообщить, тебя ведь увольняют. Письмо на тебя пришло, жалуются. Кто жалуется? Да мужчина какой-то. Был на приеме, говорит, а доктор, ты то есть, ругался матерно, кричал, ногами стучал и сморкался на пол. Вот где сморкался, в этом месте нашим женщинам сильно не понравилось. Еще чего, подтирать мы тут за ним будем! В общем,

не знаю, начальство, наверно, разберется по справедливости, но я лично сказал, что я за своего друга Аркадия ручаюсь. Ты что делаешь, Аркаша? Телевизор смотришь? Ты побереги глаза с телевизором-то, и так водкой все зрение сгубил...»

Ты никак задремал, миленький?

## Он

— Как ты меня нашла? — удивился он.

— А я и не искала, знала: вот сейчас выйду на улицу и так захочу тебя увидеть, что непременно встречу. Надо захотеть, не пробовал?

Он пожал плечами: не захотел, не пробовал.

А потом... Потом они шли по улице, уходящей вверх, к поселку, застроенному старыми домами, иные из которых больше напоминали крестьянские избы, но никак не городское жилье. Она мелко вышагивала рядом, то и дело забегая вперед и заглядывая ему в лицо. Точно так вела себя его дочь, когда он забирал ее из садика, и позднее, когда провожал в школу. Она что-то рассказывала про своих родственников, в чей дом они сейчас направляются, а он не слушал и только задавал себе абсолютно ненужные вопросы: куда, зачем? Ненужные, потому что шел, не чувствуя в себе ни малейшего желания идти, так же как и противиться этому движению. Отсутствие позывов к жизни — особый вид обморока. Что испытывает автомат, когда в него забыли опустить монетку и требуют исполнения желания? Автомат, конечно же, ничего не испытывает...

— Это ты сама? — показал он на сумочку, собранную из разноцветных лоскутков, украшенную кожаными аппликациями. Забавная такая сумочка, как из магазина неожиданностей.

Двор оказался общим на два дома. Проходя мимо первого, он увидел в окне лицо пожилой женщины — маску безумной отрешенности от всего на свете. Навстречу им выбежала рыжая дворняжка с кривыми лапами, глухо затыкала, виляя хвостом.

— Джинка, привет! — Она, наклонившись, потрепала собачонку по холке. — А я тебе ничего не принесла, извини.

Внутри все показалось ему каким-то ветхим, запущенным, хотя и не сказать, чтобы жилище выглядело необитаемым. Стол, на нем вазочка с вареньем, заварной чайник. И крошки, очевидно, оставшиеся после завтрака хозяев. Чертовы крошки! Они часто являлись ему в памяти многие годы спустя. Нет бы что доброе запомнилось!

— Сейчас чай пить будем! — радостно сообщила она, придвинув ему табуретку. — Присаживайся.

— А водки нет?

— Водка в этом доме нынче под запретом. Знала бы — прихватила с собой.

— Да я вообще-то вино предпочитаю.

Она хлопотала возле плиты и говорила не умолкая. Про каких-то придурков водителей, студентов-медиков — что к чему? И у него тоже — невпазд и некстати — в голове всплыло: счастливые браки заключаются на небесах... А несчастливые — где? Неужто в преисподней?

Она подошла к нему вплотную, положила руку на затылок, притянула к себе так, что нос его уткнулся в ее подреберье.

— Ты и не должен ничего чувствовать, не переживай. Просто на минуту забудь про все, можешь даже глаза закрыть.

Но он почувствовал. Почувствовал тепло и знакомый запах. Вспомнил, так пахло из родительского платяного шкафа, когда мама открывала его, доставая одежду или укладывая отутюженное постельное белье. В какой-то момент и вправду все недавнее и нынешнее забылось, заплыло туманной пеленой...

— Как ты замечательно пахнешь! — слышит он отдаленные звуки. — Запах любимого человека не сравнится ни с каким парфюмом!

И все. Разошлись стены. Разверзлись потолки. Его лишили воли? Нет, он вполне осознанно, добровольно пошел за ней. И в какой-то момент ему даже показалось, что это он влечет ее за собой и кружит, кружит по уплывающему полу, обхватив за плечи...

## Он и она

«У нее красивые волосы, — подумал он, разглядывая разметавшиеся по подушке тяжелые темно-русые пряди. — Вот так, просто, без ухаживаний, без любви. Сейчас в самый раз бы тебе заговорить». Ерёмин подумал, что именно теперь нужно что-то сказать, и совсем не важно кому, однако сам не находил слов. Молчала и она. «Хорошо ведь было», — подсказал он себе.

— Хорошо! — выдохнул вслух.

— Правда? — мгновенно откликнулась она. — Тебе хорошо? А я... Я из времени выпала, я была не здесь, я жила за облаком. Я неслась на облаке. Я была облаком. Прости, но я никак не могу полностью вернуться в эту реальность. Слишком яркие ощущения и сильные эмоции.

Это хорошо, мелькнула мысль у Ерёмина, что она сейчас не пытается прильнуть к нему. Даже, показалось, чуть отодвинулась. «Ее зовут Ольга», — напомнил себе, отметив, что даже мысленно ни разу не назвал ее по имени. Надо же, он не чувствовал себя победителем, как бывало когда-то в случаях легких знакомств и скорых связей. Ерёмин прислушался к себе и не обнаружил вообще никаких чувств. «А должен бы? — с усмешкой спросил сам себя и ответил: — Наверно. Новая женщина, новая близость». Ну вот, кроме того, сам же сказал: хорошо. Соврал? Хорошо — это оценка из гастронома или из школьной тетрадки. В данном случае — ни о чем. Ерёмин скосил глаза на лежащую рядом женщину. Волосы, да, чистые, блестящие, хочется захватить их ладонью и прикинуть на вес, действительно ли так тяжелы, как кажется? И кожа у нее гладкая, чистая, и вся она такая аккуратная, ухоженная.

Она, очевидно, почувствовала его взгляд на себе, повернулась, приподняла голову, опершись на локоть.

— Я первый раз в жизни влюбилась, не поверишь... — Взгляд ее вдруг поплыл, сделался беспомощным. Куда подевалась уверенность и решимость, с какими вела она его мимо больших и маленьких домов, мимо людей и собак, мимо дворовой соглядательницы? — Замуж вышла в восемнадцать лет. Измотал батюшка всю семью по темным углам страны. Измотал всех

и промотал все. Сбежала. А куда бежать-то? Только в замуж. И пропала птичка...

— А те парни-то, ну, чудаки-практиканты, они как, куда потом подевались?

Спросил бы у него кто: ты с чего вдруг про парней вспомнил? Ни в жизнь толком бы не ответил. Или так: вырвалось!

Ольга рассмеялась, и в смехе этом звучали ноты неподдельной радости. Так дети смеются.

— Не знаю. Они институт оканчивать ушли, ГОСы сдавать. А потом я уволилась из того здравпункта.

Расстались они на автобусной остановке, он даже не запомнил, каким маршрутом следовал ее автобус. На прощанье она попросила дать ей номер телефона, и он нацарапал его на завалявшемся в кармане чеке из магазина.

## **Форшлаг — вид украшения или музыкального орнамента**

Оставаясь одна, она доставала из платяного шкафа припрятанную там флейту, гладила ее, иногда пыталась извлечь звуки. Увы, они были далеки от музыки, нечто хрипловатое, как голос простуженной птицы. А ведь она вычитала в том самом музыкальном словаре из поселковой библиотеки, что некоторые концерты Вивальди, сонаты Генделя, камерные ансамбли Телемана, кантаты Баха, его же Бранденбургские концерты № 2 и № 4 написаны именно для этого инструмента или с участием его. Понятно, что в оркестрах играют мастера, они учатся по многу лет. Мысль освоить инструмент с помощью самоучителя приходила вновь и вновь, но каждый раз казалась ей смешной и нелепой. Поздно: работа, семья, кастрюли. Но она теперь будет следить за афишами городской филармонии, там часто играют симфонические оркестры. Станет ходить на концерты и вслушиваться, выделяя из множества инструментов флейту. Конечно, она теперь знает — в той же энциклопедии вычитала, — что в современных оркестрах используют другие флейты, поперечные. Но это не столь уж важно. Вивальди, Бах, Гендель, Бетховен — в самих этих

именах была сокрыта одновременно мощь и нежность, о чем она могла лишь догадываться, предчувствовать. И что мешало раньше познать богатство, таившееся за великими именами! «Ну да, — усмехнулась горько, — не про нас величие».

Возможность пойти на концерт не заставила долго себя ждать. В программе симфонического оркестра из соседней области была музыка композиторов восемнадцатого века. Почему-то программа была составлена не по хронологии и началась с Бранденбургских концертов Баха. Затем пришел черед Генделя и под конец — Вивальди. Музыка с первых же минут захватила Ольгу, одарив чувством какого-то нового дыхания. Будто в нее вместе с привычным воздухом входит нечто такое, что намного легче его и отрывает ее от кресла, поднимает и кружит над залом. Она закрывает глаза — и вот уже летит за пределами здания филармонии, все выше и выше, все больше и больше удаляясь от земли. В антракте она осталась в зале, соседка Ирка побежала «посмотреть на народ».

— В буфете пушкой не прошибить, — сообщила она, вернувшись, — тоже мне, любители высокого искусства! И вообще, я как знала, мужики в одиночку на такие мероприятия не ходят.

Они еще успевали на маршрутку, которая останавливалась рядом с филармонией.

— И вообще, — продолжила Ирка, — я тебе честно скажу, наш Борька Глиман мне, ей-Богу, ближе и понятней — и на саксе и так спеть.

— Да, Борька Глиман, — сказала Ольга лишь бы что-то сказать.

Ей хотелось побыть одной, пережить заново, попытаться освоить это необычное чувство, пришедшее к ней на концерте. Вспомнился выпускной вечер в школе, когда она вышла на крыльцо и увидела, что край неба уже взялся золотисто-зеленым светом и поманил к себе, обещая новую, неизвестную свободу. И она, как и тогда, ощутила себя вольной птицей, сию минуту готовой взлететь. Но дома ждали разболевшиеся одновременно муж и сын. Таблетки, припарки, горячее питье — закрутилось, завертелось. Один устроился в кресле, другой на диване, распаренные, вскоченные, хлюпающие носами, похожие и в то же



время будто бы и не родня друг другу вовсе — это ее семья. Куда без них? Куда от них?

— Яшка, татарин ушлый, где-то кирпич надыбал по дешевке, — просипел муж, — буду, говорит, запастись, кто его знает, как завтра с ценами дела пойдут. Он и столярку в лесхозе оплатил наперед, пока отлежится, пока высохнет — все считает наперед, хитрая рожа.

— Ты подумай лучше, куда сына на работу устроить. Диплом нынче — вовсе не пропуск в большую жизнь. Все своим детям как-то помогают.

— Кто это все?! — взвился муж. — Вот и бери его к себе санитаром, будет со своим дипломом белье под больными менять. Если ума не набрался, диплом не поможет.

— Сам устроюсь, — буркнул сын. — Я у вас на пиво прошу? Нет! Вот и успокойтесь.

Подошло время отпуска, а с ним подоспела и путевка на поездку в Германию. Давно заказала в турагентстве. Дело оказалось не таким простым, путевок было много, но такие, как надо ей, были редкостью. А надо было, чтоб как можно дешевле, это даже не эконом-класс, а маршрут, прямо скажем, для бедных: до Москвы поездом в плацкартном вагоне, а дальше на автобусе, всей толпой. Группа, как оказалось впоследствии, была почти сплошь учительской. Тоже небогатый народ.

— Лучше бы мне на машину добавила, — отнесся к известию муж. — Сейчас вон ткни в интернет — тебе про любую страну расскажут и покажут, чем ноги-то бить.

— А лучше мне на ипотеку, — поддержал разговор сын. — Не хочу я с вами жить, присохнешь тут к столу вашему.

— И чем это тебе наш стол плох? — возмутился отец. — Борщи с пельменями за этим столом в три горла у тебя улетают.

— Между прочим, правильно, — миролюбиво заметила Ольга, — не надо с нами жить, как показывает жизнь, ничего хорошего из этого не выходит. Вот пойдешь на работу, снимешь себе комнату или квартиру, это как по доходам, а через годик можно будет и об ипотеке подумать. С первым взносом родители помогут, так ведь, отец?

Разговор закончился при всеобщем неудовлетворении.

К тому времени они с Ерёминым уже встречались более или менее регулярно. Чаще всего в домике у брата Ольги, а иногда ходили в кафе, маленькие ресторанчики или в винный бар, где он был завсегдатаем с давних лет. Заведение чисто мужское, но для Ольги это не имело значения, хоть куда, лишь бы с ним. А ему — вообще все равно. Иногда он пытался разобраться в себе, прислушивался, как там, внутри, отзывается его сокровенное Я на эту странную связь, на эту случайную близость. А никак — было ему ответом. И ведь мог остановиться в любую минуту, отойти, отринуть, забыть, но нет, почему-то не делал этого. Хотя отдавал себе отчет в том, что происходит, и говорил: «Совесьть поимей! Для нее же все это всерьез, все по-настоящему». Да, она чистенькая, симпатичная, моложе его, желанная... Но, черт возьми, должно же быть что-то еще. В этом месте Ерёмин горько усмеялся: похоже, вот за этим самым чем-то он и пробегал всю жизнь, угробил свое время в тщетных поисках и ожиданиях.

На этот раз они встретились в маленьком уютном кафе, где подавали кавказскую еду вперемешку с привычными котлетами, бифштексами и поджаркой. Обслуживали тоже вперемешку русские и кавказские девушки. Судя по всему, лицензии на торговлю спиртным у заведения не было, но здесь закрывали глаза, если кто-то приносил выпивку с собой. Ольга достала из своей вязаной в неопишимо ярких тонах сумочки двухсотграммовую бутылочку коньяка, выставила на стол.

— Вот! — и стала искать взглядом его взгляд.

— Ты же знаешь, я больше по вину, — без особой убежденности заметил он.

— А мне так и сказали: это вино, только крепкое, — слукавила она.

— Ага, дитя неразумное! Можно подумать, ты только сейчас впервые про коньяк услышала! Дома-то мужики что пьют?

— Сын пиво, а муж... Не знаю, он дома не пьет.

— Как это? Столько лет живете, сын уже институт окончил, и он что, ни разу не выпил?

— Ну, почему? Просто я не вглядывалась, что он там себе наливает.

Ей явно не хотелось продолжать этот разговор, она с преувеличенным усердием взялась искать что-то в своей сумочке.

— Это тебе, — положила перед ним берестяной кружочек, обшитый по краям суровой ниткой. На кружочке выжжены знаки, похоже, каббалистические, впрочем, Ерёмин ничего в этом не понимал.

— Оберег от самой настоящей шаманки, она с гор спускается, к нам лечить приезжает.

— За деньги?

— Да, за деньги.

— Значит, не настоящая шаманка, те деньги не берут.

— Нет, она настоящая, потомственная! — загорячилась Ольга. — Она мне при первой же встрече все про меня рассказала: кто, откуда, сколько детей у моих родителей, у меня, про тебя даже знает. Показала мне, в каком месте надо опасаться болячки. У нее дочка обожгла лицо, баллончик с аэрозолем стала распылять возле огня. Они уже несколько лет возят ее к врачам по всей стране, представляешь, каких это денег стоит? Вот и зарабатывает.

— Интересно было бы посмотреть на человека, которого она на самом деле вылечила.

— Не знаю, люди верят, идут. — С этими словами она придвинула берестяной кругляшок к нему поближе. — Возьми, носи где-нибудь в дальнем кармашке, не она, так я тебя беречь буду.

Ерёмин потрогал амулет, береста показалась ему теплой, будто только что ее грели в ладонях. Вспомнил, что в прошлый раз она принесла ему прихватки для горячей посуды, забавно скроенные из лоскутков разноцветной ткани. А до того были толстые шерстяные носки, тоже ее собственного изготовления. На какое-то мгновение ему показалось, что тепло от кругляша охватило всю его руку и пошло, пошло по телу.

— Как тебе концерт? — спросил, сдерживая улыбку, за которой пряталось: тоже мне, любитель классики!

— Понравилось, — просто ответила она и тут же сообщила: — А я в Германию еду, турпоездка, десять дней.

— Да? — удивился он. — Молодец. С семьей?

— Одна, конечно.

— Дрезден, Лейпциг, Берлин...

— Откуда знаешь?

— Самый простой и привычный маршрут для русских туристов, давно известно.

Будешь в Лейпциге — попросись в церковь святого Фомы, там, во дворике, памятник Баху, наверно, самый лучший из их великого множества. Обрати внимание на камзол, там пуговица оторвана, болтается на нитке. Эта пуговица, пожалуй, больше любого документа говорит об отношении музыкального гения к бытовым мелочам.

— Тебе бы гидом работать, столько знаешь, так излагаешь...

— Да просто... — И он скомкал фразу, уводя разговор в сторону. — А еще там же, в Лейпциге, сходи в зоопарк. Я их терпеть не могу, зоопарки эти, но тот считается одним из лучших в мире, животные в просторных вольерах и совсем не напоминают наших зачумленных обитателей тесных клеток. Да вас туда поведут обязательно. К памятнику — не знаю, а туда непременно. Передай от меня привет розовым фламинго. Я из-за них-то и ходил туда, часами стоял, наглядеться не мог. Птица-мечта, птица-песня, райские души, навестившие нас на Земле.

Она смотрела на него во все глаза, слушала и не узнавала. Обычно молчаливый, сдержанный, нет, закованный в непроницаемую броню, он ли это перед ней? А он сидел, смотрел куда-то сквозь предметы, и коньяк стоял нетронутым.

— Да, спохватился он, — у меня для тебя тоже кое-что есть. Ты же читать любишь? Меня на днях приятель затащил на выступление какого-то столичного не то юмориста с политическим уклоном, не то политика с юмористическим. Местами было смешно. Он мне книгу свою подписал.

Ольга удивленно подняла глаза.

— Там они устроили что-то вроде литературной викторины, — усмехнулся Ерёмин, — ну и оказалось, что я один из всего зала знал, что братьев Карамазовых было четверо, а не трое, как полагают многие. Я полистал, не пошло.

— Так и мне, наверно, не пойдет, — мгновенно отозвалась она.

— Ну, тогда отдадим официанту или забудем на столике.

— Там же твое имя!

— Да. А я как-то не подумал, ведь как раз поэтому и не стоит тебе брать ее домой.

— Да наплевать, — сказала она и решительно спрятала книгу в сумочку.

— Почему Германия? — запоздало поинтересовался Ерёмин.

— А даже и не знаю. Это ж только начало. Я обязательно побываю в Париже, в Риме, в Милане и Барселоне. В год по поездке, копить буду, со второй работы откладывая, решила так. Когда-то детские мечты надо осуществлять.

— Скажешь тоже, детские! Или ты в пять лет уже что-то знала про Барселону? Хотя бы слышала?

— Нет, конечно, в пять — нет. А в школе что, уже не дети учатся?

— Ну да, ну да.

И опять он задумался о чем-то, что выходило за пределы их разговора.

— Твоя работа связана с преподаванием? — осторожно поинтересовалась она.

— Нет, — ответил он и, подумав, добавил: — Вовсе нет.

— Но ты же учился на кого-то, специальность получал.

— На кого-то! — невесело усмехнулся он. — Детская музыкальная школа, музыкальное училище, по-нынешнему колледж, Гнесинка, по-нынешнему Российская академия музыки имени Гнесиных.

— Ты окончил Гнесинку? — От удивления Ольга даже привстала.

— Да. И что? Мало ли кто на кого выучился. И давай закончим эту тему.

Почему-то ему не хотелось говорить ей о своей работе, хотя можно было бы устроить еще одну викторину. Моя жизнь связана с музыкой, но я не играю ни на каких инструментах, стало быть, не участвую в оркестрах, не пою, не дирижирую, не руковожу музыкальным коллективом. Отгадай, чем я занимаюсь?

Перед уходом из кафе Ольга достала из сумочки небольшой конверт, напоминающий те, в которых нынче приносят деньги вместо подарков.

— Я уезжаю послезавтра, прочитай после моего отъезда, раньше не вскрывай, ладно?

А он все никак не мог выйти из оцепенения, в которое повергло его воспоминание о Лейпциге. До сих пор он не может точно сказать, что это было — страсть, любовь или одно и другое вместе? Помнит и сегодня адрес, а сколько уж лет миновало: Петербург, улица Куйбышева, дом, квартира. А еще до того — знакомство в курортном городке в Абхазии. Вот она стремительно минует холл перед обеденным залом, вот так же, неся с собой ветер, приближается и садится за его столик.

— Здравствуйте! Меня вчера посадили на это место.

— А меня сегодня, — ответил он, и тут же дыхание его сбилось, сердце зачастило. «Что это? — спросил себя, удивленный. — В юные лета редко так вспыхивал».

И все. Исчезло все вокруг, растворилось, утонуло. И сами они утонули друг в друге и в море, ласково обнимающем их. Казалось, так вот, мгновенно и безвозвратно утонуть невозможно. Иногда, просыпаясь по утрам, он повторял: «Успокойся! Это обычный курортный роман!» — и не верил себе. Время, не поперхнувшись, проглотило те две недели. Она, перед тем как вернуться домой, в Питер, отправилась в Грузию, к сестре, а он полетел в Сибирь. Договорились встретиться в Питере. И вот эта встреча. Нет, ничто не прошло, не ослабело, не подтаяло даже.

— Если б я была львицей, я бы разорвала тебя на части, так ты никому не будешь нужен, не достанешься никому. Не уступлю ни кусочка, это все мое, без остатка!

Он не помнил, что отвечал на это, а она:

— Каждый вечер там, в Грузии, устраивали праздники в мою честь. О, грузины умеют делать праздники! И пели песню — я раз попросила, а потом уж и не рада была, потому как через каждый час: «Не уезжай ты, мой голубчик...» И я знала, что это про тебя, и я всякий раз рыдала, и я не могла переключиться, заставить себя подумать, что эта песня была сложена задолго до нас, она просто не может быть про нас. Но какой-то упрямец твердил мне одно: хорошие, настоящие песни всегда про кого-то, кому-то...

Он прилетал в Питер и раз, и два, и три, он сказал жене, что полюбил другую и, скорее всего, уйдет к ней. И она не таилась от мужа и повторяла, жалея его: «Ничего не поделаешь с тем, что мы не в состоянии вобрать в себя все богатство мира, и мы

не в рабстве друг у друга». Однако на предложение Ерёмкина уйти к нему ответила отказом.

— Муж любит меня, и он не виноват в том, что ты оказался частью моего мира, частью, без которой я уже не могу обойтись. Где бы ты ни был, куда бы ни позвал, когда бы ни окликнул — я прилечу к тебе тот же час. Но бросить мужа — это непростибельное предательство по отношению к человеку, который отдает мне все. Да, мне этого оказалось мало, потому что появился ты...

И вот она с мужем уезжает в Германию. Последний вечер. Они прощаются на даче, которая уже продана или подарена кому-то. Нежное лето своей чистотой, мягким теплом, тихими всплесками, доносящимися от озера, подчеркивает нелепость, излишность происходящего. Она варит варенье из клубники и плачет.

— Зачем тебе варенье, с собой же не повезешь.

— Так ягода назрела, — произнесла она едва слышно и зарыдала в голос.

Потом он приезжал к ней в Лейпциг. И снова настаивал на необходимости сойтись им навсегда. И снова ответом ему был отказ. Потом было письмо, где он требовал от нее развода в ультимативной форме. И был отказ в таком же резком тоне. А потом все закончилось.

Коньяк, который Ольга засунула ему в сумку, Ерёмкин пил дома, в одиночестве, вспоминая любимое место встречи, ресторанчик, где, по преданию, Гёте писал своего «Фауста», где и по сей день подавали любимое блюдо великого писателя — свиные ножки в тушеной капусте. А затем пришла ночь, и комнату заполнили розовые птицы.

Сумка с инструментами понадобилась ему лишь несколько дней спустя. Тогда он и наткнулся на подарочный конверт, о котором позабыл, едва выйдя из кафе. Половинка обычного листа бумаги. «Дорогой мой! Ты же знаешь, я живу почти в лесу. Рядом сплошь многоэтажки и моя квартира на четвертом этаже, но кругом лес. Отошла от дома на сотню метров — и вот уже сосны спрятали меня от всех и всего. Я умею разговаривать с ними, с соснами, с кустами, травами и даже с птицами, у которых есть свой язык. И они разговаривают со мной, мы научились говорить, не перебивая друг друга. Когда наговорюсь, я ухожу, и они провожают меня

молча. И только с тобой я могу говорить даже в твое отсутствие. Какой-то умник придумал фразу: для танго нужны двое, и сотни других умников стали употреблять ее во всех случаях, когда человек вступает в отношения с кем-то. Любые. Что за ерунда! Я танцую посреди огромного зала одна, но все равно с тобой, хотя ты где-то далеко, стоишь, облокотившись на парапет набережной, и смотришь на убегающую воду. Мне хватает частички тебя, редкого слова, оброненного, может быть, в прошлом десятилетии, запаха, ветерка от мелькнувшего в отдалении плаща, случайного взгляда, воспоминания... Тебе ничего не нужно делать, чтобы заполнять собой весь мир. Можешь уйти, можешь оставить меня на время, можешь навсегда — это ничего не изменит. И я спокойна за тебя, потому как уверена, что женщины будут любить тебя всегда, это уж точно — и в девяносто и после девяности! Ты настоящий мужчина, и это истинное мужское начало будет ощущать рядом с тобой настоящая женщина всегда! Просто береги себя!»

Ерёмин задумался и представил себя облокотившимся на парапет. Где это он? У Москвы-реки в районе парка Горького, куда любил ходить во время учебы в столице? В Тюмени на берегу Томи или на набережной той же Томи в Томске, Кемерове? А может, он в Красноярске, и под ним протекает мощная плоть Енисея? «Девочка, зачем тебе все это? — в который раз задает он бесполезный вопрос. — Я хочу, чтоб ты знала: после того южного знакомства, после обжигающих встреч в Питере и Лейпциге во мне осталась огромная выжженная яма, и она никак не желает заполняться. А ты, — он невесело усмехнулся, — предлагаешь мне дополнительное пустое пространство, в котором я могу делать все, что угодно. Или ничего не делать вообще. И быть любимым, не прикладывая для этого никаких усилий. Эта твоя безрассудная щедрость похожа на то, что называется доведением до самоубийства...» И вдруг он впервые за долгое-предолгое время подумал, что ведь и он оставил своей жене, тотчас после его признания ушедшей в неизвестные пределы, такое же выжженное пространство. Спустя годы до него донесли, будто живет она в далеком захолустном городке, одна, под его фамилией.

— Живет и старится, — произнес он, глядя со двора на свои окна.



## Бекар — знак отказа

Так все и было. Лейпцигский зоопарк с розовыми фламинго, маленький рестораник, где меню своей обложкой больше напоминало концертную программку: сегодня здесь дают «Фауста»! И наконец, церковь святого Фомы. Ольге повезло: шли последние дни ежегодного Баховского фестиваля, и здесь, как и в других органных залах города, звучала музыка Баха, Генделя, Вивальди. Ее удивило, как много музыкальных переложений Антонио Вивальди сделал великий маэстро, похороненный на территории церкви. А на другой день ей удалось попасть на концерт в Гевендхаус, один из лучших залов Лейпцига. Оркестром руководил русский скрипач и дирижер, как в программе написано, руководитель камерного оркестра The Vivaldi Society (Общество Вивальди) Антон Мартынов. Она тогда еще подумала, какое совпадение имен: Антонио — Антон, и мысленно поблагодарила свою преподавательницу Беллу Наумовну за английский, которая в отличие от других школьных учителей, встреченных Ольгой во множестве, «давала» язык по-настоящему, всерьез. Программка была напечатана на немецком и английском. Ольга то и дело закрывала глаза, боясь спугнуть эту нечаянную сказку: она в Лейпциге, знаменитом европейском зале слушает музыку восемнадцатого века! Вивальди, концерт для двух скрипок ре минор из цикла «Гармонические вдохновения». Именно концерты этого цикла Бах переложил для клавиров и органа. Среди нескольких исполненных в тот вечер концертов Ольга отметила тот, где солировала флейта. В пояснении значилось, что при жизни Антонио это соло исполнялось на такой же блокфлейте, которая дожидалась ее дома. Да, *flauto dolce!*

Так получилось, что Ольга в списочном составе группы оказалась нечетным окончанием, и благодаря этому ей в каждом из городов маршрута доставался двухместный номер для нее одной. Красота, ни с кем не надо говорить, да и какие разговоры: к вечеру вернулась в номер — рухнула от усталости. Но тут-то и началось самое интересное, чему никто не мог помешать. Каждой ночью приходили необычные сны. Конечно, правда и то, что снов обычных не бывает, однако тут вроде кто на свой особый манер

расписал партитуры сновидений. Вот величественно-неряшливый Иоганн Себастьян сходит со своего постамента, оглядывает все окрест и направляется к ней. Подойдя, достает из недр своего камзола глиняную трубочку, смотрит на нее как бы даже удивленно, будто случайно в руки попала. Затем отставляет локоток, приглашая взять его под руку, и все так же величественно декламирует:

Когда беру я трубку в руки,  
набью отменным табаком  
и время отниму у скуки,  
курю, задумавшись о том,  
что вероятно на неё же  
черты мои весьма похожи.

Я тоже вылеплен из глины,  
мы с ней однажды упадём  
на землю твёрдую и спины  
сломаем хрупкие вдвоём.  
Мне вместе с ней придёт труба,  
Нас ждёт подобная судьба.

*(Стихи посвящены жене Баха Анне Магдалене)*

И тут же, безо всякого перехода, она оказывается на сцене. Чей-то голос объявляет об исполнении сюиты си минор, и они начинают играть — великий Бах на флейте, Антон Мартынов и она (она!) солируют на скрипках. Просыпается в восторженном трепете и верит-не верит, что видела сон: подушечки пальцев горят от прикосновения струн, легкий запах канифоли будоражит обоняние, и еще нечто неуловимое, необъяснимое, всегда присутствующее в концертных залах, — смесь всего: звуков, запахов, красок... Она засыпает вновь и видит все тот же концертный зал перед началом первого действия. С легким стуком опускаются сиденья кресел, негромко переговаривается публика, из-за кулис доносятся пробные звуки скрипок. И вдруг голос, который она уже слышала раньше, произносит: «В сонатах Баха для флейты наиболее значительны по содержанию подвижные части, особенно

первые. Им свойствен яркий, эмоциональный тонус, развитая фактура, энергичные акцентированные синкопы, быстрые триольные последовательности с залигованными синкопированными сильными долями, смена двудольных ритмов трехдольными, нередко в пределах одного такта. Чрезвычайно динамизируются такие полифонические формы, как канон, которому придается энергично-взволнованный сильный характер с яркой партией флейты...» Ее охватывает восторг (во сне ли?) и какой-то диковинный трепет: она все это знает, понимает значение каждого слова из этого набора музыкальных терминов. Как такое может быть, откуда ей знать это?!

Сон уходит долго, трудно, может, потому что она сама удерживает его, пытается не то чтобы вернуть, но каким-то образом соединить с действительностью. Увы, явь так или иначе берет свое, оставляя на память о видениях легкие покалывания в кончиках пальцев. И еще — это странно, необъяснимо, противоестественно — желание тотчас раздобыть где-нибудь скрипку и играть, играть, ведь она умеет, вне всякого сомнения, умеет!.. На другую ночь все повторялось почти в той же последовательности, только вместо скрипки у нее в руках оказалась флейта, а наутро — долго и неохотно проходящая уверенность: я ведь и вправду виртуозно играю на ней!

За дирижерским пюпитром Антон Мартынов, оркестр исполняет Бранденбургский концерт № 2. Она солирует на флейте, но почему-то находится при этом не с оркестрантами на сцене, а в зрительном зале. На какое-то мгновение дирижер обернулся в ее сторону, и — о диво! — это вовсе не Мартынов, перед ней во всем блеске дирижерского концертного облачения Ерёмин! Он делает несколько взмахов палочкой, остановив взгляд на ней и показывая жестом: здесь играем *legato* и *piano*. Мгновение, другое — и вот уже он повернулся к музыкантам, и со спины не разобрав, кто же дирижирует оркестром на самом деле. Концерт окончен, она в смятении медленно пробирается к выходу, и вдруг путь ей преграждает сам известный маэстро.

— Здравствуйте! — приветствует ее Мартынов, и улыбка у него при этом светлая, добрая, детская, улыбка, как будто его, огорченного чем-то шестилетнего ребенка, невзначай угостили

мороженым. — Мне сказали, что Вы приехали из города Б., не так ли?

— Да, — еле выдавила она из себя.

— Там живет мой сокурсник Ерёмин, человек необычайных музыкальных способностей, можно сказать, уникальное творение природы. У него абсолютный слух, понимаете... Боюсь, что людям неосведомленным это не вполне ясно, это такой дар, ну, может, одному на миллион дается. Он мог бы достичь невероятных успехов, его оставляли в Москве, но он почему-то уехал. И мы с тех пор почти ничего не знаем друг о друге. Может, вам удастся встретиться с ним. Передайте, я его помню, и пускай приезжает, я чаще всего бываю в Париже, найти нетрудно. — С этими словами он откланялся, но сделал несколько шагов, обернулся. — И поздравьте его от меня с днем рождения, у него скоро, двадцать восьмого июля. Я почему запомнил: в этот день — в один и тот же, представляете! — только с разницей в девять лет умерли Вивальди и Бах!

В холле гостиницы на столике компьютер — пользуйся, кто хочет, сколько захочет. Интернет подтвердил: Вивальди и Бах умерли двадцать восьмого июля с разницей в девять лет!

Она прожила наступивший долгий день в нетерпеливом ожидании ночи, когда можно будет погрузиться в эти необычные сны, такие фантастичные и такие близкие к жизни. А сон все не шел, и вот уже небо по краю подалось узкой полоской нежной яблочной зелени. Но вот наконец-то... Старый венецианский дом, широкая деревянная лестница ведет к верхним комнатам, являющим собой мансарду. В доме четверо — молодые темноволосые девушки, не красавицы, но миловидные, стройные, невысокий рыжеволосый мужчина на вид лет тридцати пяти, болезненного вида, бледный, со впалой грудью, и она, Ольга. То есть она сама себя не видит, но присутствие ее угадывается: к кому-то же обращаются они, не в пустое пространство. Наряды, прически — все как в костюмированном представлении из жизни восемнадцатого века. Они с шумом носятся по дому, изображая что-то вроде нашей игры в прятки. А может, это прятки и есть. Подвижные, резвые, беззаботные, словно дети, они снуют вверх и вниз по лестнице, делая вид, будто ищут укромные уголки. Всерьез

никто прятаться не собирается. В какой-то момент мужчина присел, держась за перила, тяжело дыша и обмахиваясь платком.

— Антонио, тебе плохо? — засуетились около него девушки.

— Немного задохнулся, сейчас пройдет. — Слова тяжело, с повистом выходили из него. — Паолина, — обратился он к одной из девушек, — сделай мне компресс, как обычно, с этой твоей настоеккой. Он прикрыл глаза, на мгновение забывшись, и тут же встрепенулся. — Анна, — это уже другой девушке, — приготовь бумагу и перо, я буду работать, я слышу, слышу прямо сейчас...

В это мгновение раздался громкий стук в дверь. Та, кого называли Анной, побежала ко входу и через минуту уже разворачивала манускрипт.

— Читай, — кивнул ей Антонио.

— In considerazione del tuo comportamento spregevole, ti è stato negato presto l'attività di concerto, — прочитала Анна и в бессилии опустила руки.

— В виду вашего неблагочестивого поведения вам на ближайшее время отказано в концертной деятельности, — повторила за ней уже по-русски Паолина, и Ольга поняла, что перевод сделан специально для нее.

В доме повисла тишина. Минута, другая — и вдруг внезапно повеселевший Антонио вскакивает со ступеньки.

— Анна, дорогая! Бумагу и перо!

Вслед ему, пронесшемуся вихрем по комнате, Паолина прошептала:

— Бедный, бедный il prete rosso!

«Странно, — думала Ольга наутро, — считается, что сны — это некий отголосок того, что когда-то было с тобой, а здесь...» Она совсем немного узнала про Вивальди, когда знакоилась с историей флейты. Но здесь дом, окружение композитора, итальянский язык... Она поняла, о чем идет речь в манускрипте еще до того, как Паолина перевела текст. И эта ее последняя фраза понятна ей: бедный рыжий священник! Пожалуй, объяснения этому никогда ей не найти, разве что поговорить с кем. С Ерёминым?

Встреча с братом... Лучше бы ее не было. Он назначил ей свидание в ресторане при отеле «Berolina», куда Ольгину группу поселили по приезду в Берлин. Семья, дети, здоровье — обязательный

набор, и больше ничего. Далекое, чужие. Наверно, бывает и по-другому, у них вот так. Он сидел как на иголках, не скрывая своего желания поскорее уйти. Полтора часа — столько времени понадобилось им на общение после полутора десятка лет разлуки. Под конец Ольга едва сдерживала слезы от бессилия, от невозможности заполнить хоть чем-то эту пустоту, возникшую между двумя родными людьми. Пересилила себя, не расплакалась.

Странное лето, странная поездка, чередующая восторги и пустоту. Скоро она вернется домой, выйдет на работу в свою больницу. Она хорошая медсестра, ее любят больные, понятно, для кого-то из них она — последняя зацепка в надежде удержаться в этой жизни. Врачи не в счет, они действуют по протоколу, утверждая, что души на всех не хватит, душа за пределами профессии, можно сказать, помеха. Строгость и мастерство — этого достаточно. Врачам нет дела, что девяностолетняя Ягодка (наградил же Господь фамилией!) плачет по внучке, которую оставил муж.

— Давно ль оставил-то, Эмилия Федоровна?

— Да вот как сынок у нее родился, правнучек мой, стало быть, так и бросил.

— А сынку ее нынче сколько?

— Сказывают, в институте учится.

— Иииии! Поздно ж горевать, взрослые все. А что не идут к тебе родные твои?

— Так некогда им, бедным, занятые — страсть, жизнь-то вон какая нелегкая.

Ольга выписывает из истории болезни телефон Ягодкиной родни, звонит. На том конце связи удивляются: так она ж сказала, что у нее все есть. Конечно, у нее все есть, что ей, старушке, особенного надо? Вот и у брата все есть. Дом, семья, хорошая работа (механик в большом автохозяйстве), на новой красивой машине приезжал. Ольге там, во всем множестве, чем владеет он, места не осталось. Что ж, далеко. Стерлось. Выветрилось. Да разве только они потеряли нынче интерес друг к другу?

Так думала она, глядя в окно автобуса, провозившего их по улицам Берлина в последний раз.

С утра долго смотрел на календарь, как будто пристальное его разглядывание могло внести в плановое течение времени что-то новое. За окном повзрослевшая вдруг листва, сушь двухнедельная, а в голове заботы, мешающие счастливо поглощать законное пространство. Лучше вернуться к календарю, он живой, он существует в постоянном движении, беззастенчиво отмеряя время: сутки, другие, вход, выход. Он живой, с ним можно разговаривать. Очевидно, настоящий календарь — это не заданная очередность дней и ночей, это череда событий, иначе... Не зря же придумано — река времени, течет себе мимо берегов, пустых и заселенных.

Утром же вынул любимый натюрморт старинного друга из рамы и повесил ее, пустую, на прежнее место. Оказывается, пустая рама имеет некое самодостаточное значение — пустота в раме! Кто знает, может, она каким-то образом будет помнить, что обрамляла? «Но пройдет время, — думает Ерёмин, — не будет меня, и забудется, затеряется связь этой рамы с натюрмортом. Оставлю-ка висеть ее пустой, она заслужила пенсию, она устала от бремени нести в себе этот замечательный холст. А натюрморт я одену в другую...»

Замечательный звонок ближе к вечеру. Девочка-тростиночка, когда-то заглядывавшая в глаза Ерёмину, маленькая отдушина в образовавшемся вдруг одиночестве. Вышла замуж за нового русского и жалуется:

— Представляешь, он взял и продал мою машину, и мне теперь не на чем практиковаться перед сдачей на права. Прямо куча неприятностей! Мы уже год не можем въехать в новый коттедж в элитном поселке, чего-то там не хватает в отделке.

— Спать негде? Приходи, — неудачно пошутил он.

— Ох, тебе бы мои заботы!

Будущее — это когда теряешь то, что есть, а взамен приобретаешь невесть что. Друзей давно нет, они пропадают вместе со способностью видеть людей насквозь. Они тоже взрослеют, тоже видят и тоже понимают, что ты видишь. Это если не брать в расчет тех, чей отток, как обязательная усушка и утруска, связан с самым распространенным сегодня деянием — предательством. И другое. Вчера старинного друга встретил — говорить не о чем.

Кто-то приезжает из Америки, кто-то из Израиля — и с ними не о чем. Пресное блюдо под названием «общение» напрочь вычеркнуто из меню... Днем ранее ездил на дачу к старой знакомой, в вагоне электрички бабка приказала, чтобы он прекратил пить пиво. Указ вышел, кликнет урядника. Правильно, бабуля! К пьяной орде, горланящей возле твоего собственного подъезда, ты не подойдешь, страшно, а тут трезвый, приличный человек с бутылкой пива, можно и шугануть, смелость проявить, гражданский долг исполнить. Это рабство в людях, оно неистребимо.

— Хочу на природу! — громко высказался в пространство Ерёмин. — Посадить грядку, поймать рыбку.

Третьего дня он видел, как мужики пытаются выловить карасика из мутных вод речки, пробегающей по самому центру города. В воде пакеты, бутылки, прочий бытовой мусор, а им хоть бы что. На другом берегу возвышается здание недостроенного бизнес-центра — мозаика контрастов. Мужики с удочками, как и те, кто работает на стройке, никакого отношения к бизнесу не имеют. Эффект отчуждения от мира достигается контрастами, чем величественнее стройки больших хозяев, тем больше пропасть между ними и теми, кто сейчас на берегу мутной речки. Никто не догадывается, что большие люди — все равно маленькие человеки.

— Ну, где ты, великий режиссер, способный слепить из всего этого драму, трагедию, комедию? — послал Ерёмин вопрос по тому же адресу.

Пришел на вызов в квартиру на пятом этаже малометражки в районе, называемом Потоком. Поднялся по обшарпанным ступеням и подумал, что бедность не только у дверей поджидает, она может быть представлена самой дверью. Как эта — избитая, истертая, со следами неоднократной замены замков. Женщина лет сорока-сорока пяти на старом продавленном диване, девочка-подросток, старое пианино фабрики «Красный Октябрь». Мебель — тот минимум, которого уже никак не избежать, сколько ни экономь на домашнем хозяйстве. У мамы и дочери похожие глаза — серые, напоминающие прозрачностью облачный агат, а еще — большие и испуганные. Ерёмин знает, чего страшатся женщины: им никто не сказал, сколько будет стоить настройка инструмента.



Или они догадываются, что одной только настройкой здесь не обойтись. Ему-то стоило нажать две клавиши — стало ясно: и струны ослаблены, и молоточки смещены, и дека дребезжит.

— Она у нас в школе доучиваться не стала, после девятого сразу в музыкальный колледж, — торопливо и с виной в голосе заговорила мать. — Поеду, говорит, в Москву, в консерваторию.

А Ерёмин почему-то отметил, как она выделила «у нас». Ясно же, что никаких «у нас» не предполагается, одна растит дочь. Он еще раз оглядел скромное убранство квартиры и снова подумал, что вот точно так же сейчас сидит на диванчике его бывшая жена и, быть может, думает: не встретить она Ерёмина — жизнь пошла бы совсем по-другому. Ведь это так, коль худо и источник этого худа известен. Что-то часто он стал думать об этом, раньше такого не бывало. А ей уже не выйти замуж, так и жить одной под его фамилией. И почему она при разводе не вернула свою?

— Я ей говорю, — продолжала мать, — Новосибирск под боком, тоже большой город, там тоже есть консерватория, вон, смотри, у вас преподаватели почти сплошь оттуда. Опять же я рядом, если что. Нет, ни в какую, в Москву — и точка.

«Главного не договаривает, — думает Ерёмин, — ее же больше всего мучает вопрос, на какие шиши отправлять дочку в столицу?» Он открыл очешник, оттуда выпал свернутый листок, записка от Ольги. Удивился, не вспомнив, когда положил ее туда.

Провозился долго. Мог бы сказать: лучше бы справить новый инструмент, чем мучиться с этой рухлядью. Не сказал.

— Есть у вас пустые пластиковые бутылки? — спросил у девочки. — Ножницы? — Когда она принесла то и другое, показал: — Вот так обрезаем и наливаем воды. Ставим вот сюда и следим, чтобы водичка все время там была. У вас в доме сухо, вот дека и рассыхается.

— Сколько мы вам должны? — Женщина стесняется вопроса, боится ответа и вообще, судя по всему, думает: хорошо бы, не было б этого инструмента, этой мечты-идеи с консерваторией, училась бы дочка в нормальной школе.

— А ничего! — весело сообщает Ерёмин. — То есть я должен через пару недель прийти, посмотреть, как работает инструмент,

новым деталям нужно притереться. А там посмотрим. Но не беспокойтесь, много не будет.

Он заторопился, подгоняемый ерундой, которую сам же и говорил, обернулся у дверей и убедился, что мир на своем привычном месте: во взгляде женщины озабоченность, сомнение и недоверие.

С непонятно откуда взявшимся нетерпением прямо в подъезде Ерёмин развернул записку, о которой до сего дня ни разу не вспомнил. «И я спокойна за тебя, потому как уверена, что женщины будут любить тебя всегда, это уж точно — и в девяносто и после девяноста!..» И он теперь только подумал, что у него нет номера телефона Ольги, что как бы по само собой разумеющемуся заведенному однажды порядку всегда находила его она.

Они встретились на следующий же день, что Ерёмин отнес к некоему мистическому промыслу. Отправились гулять в парк, который горожане называли горсадом. Парк находится в старой части города, дальняя граница его — берег той самой речушки, возле которой он совсем недавно наблюдал рыболовов. До вечера было еще далеко, зелень мало спасала от жары, но все-таки в тени деревьев дышалось легче, чем на открытых местах.

— А вот скажи, — Ольга мягко развернула его к себе, — что бы ты сейчас хотел больше всего.

— Портвейна, — не задумываясь ответил Ерёмин, — и чтобы в подъезде, как в молодости, или на пенечке.

Ольга огляделась.

— Вон пенечек. А вот вино, я купила его в Лейпциге и перелила в пластиковую фляжку, чтобы удобнее было возить. Мне сказали, что это португальское вино, портвейн.

С этими словами она достала из сумки фляжку с тиснением в виде виноградной кисти.

Ерёмин не мог вспомнить, заходил ли когда у них разговор о его любимых напитках. То есть что-то такое было, но вот конкретно про портвейн... Нет, он не помнит.

— Волшебная у тебя сумка!

— Это еще не все. Вот! — И она достала сверток в шуршащем пакете. — Тебе, разверни.

В пакете оказалась сорочка из светло-коричневого мягкого вельвета. Ерёмин очень любил такие, правда, последнюю давно уж износил. Обошел несколько магазинов — не встретил. «Она и это знает?» — спросил у самого себя.

— Нравится? — И не дожидаясь ответа: — Размер-то я, знаю, угадала, тут я не могла ошибиться.

Он прижал сорочку к щеке, ткань мягкая, ласковая, почти воздушная.

— Спасибо, завтра же надену.

В киоске с газводой они купили разовые пластиковые стаканчики, Ерёмин наполнил их густо-красной жидкостью из фляжки.

— Удивительный вкус, — похвалил он вино, — настоящий порто. Пожалуй, с консерваторских времен не пил такого.

— Крепковато, — заметила Ольга, — но, наверно, настоящий портвейн таким и должен быть.

— Да, именно таким, — подтвердил он.

— А еще вот это. — Она достала из сумки небольшой, округлой формы отшлифованный камень, полупрозрачный, молочно-зеленоватого цвета. — Не знаю, как называется, можно посмотреть в справочнике. Просто очень красивый. Я решила, что объезжу как можно больше стран и из каждой буду привозить тебе необычный камешек. Соберется коллекция. А потом... Потом мы поедем с тобой вместе. И я даже догадываюсь куда. Хотя...

— Ты меня задарила сегодня, тронут.

— А почему ты не спрашиваешь, в какую страну мы поедем?

Ерёмин вопросительно посмотрел на нее.

— Дело в том, что ты получил приглашение в Париж, к своему однокурснику Антону Мартынову, правда, пока неофициальное, только на словах.

— Не понял. — Он буквально остолбенел от неожиданности. — Как это?

Ольга не задумывала эту игру, как-то случайно получилось, экспромтом, но теперь чувствовала, отступить уже нельзя, некуда. Что-то несло ее с неведомой силой вслед за фантазиями гостиничных снов. И что самое удивительное, у нее

и на мгновение не возникло сомнения, что они действительно знают друг друга.

— Я была на концертах в Лейпциге, слушала немецкую, итальянскую классику. После одного из выступлений подошла к маэстро, разговорились. Он знает, в каком городе ты живешь, передал привет и пригласил к себе. Еще он сказал, что ты жутко талантливый и мог бы превзойти самые известные имена в мире музыки. Что у тебя абсолютный слух и такие люди рождаются один на несколько миллионов.

Ерёмин слушал и ушам своим не верил. «Это слишком фантастично, — думал он, — чтобы быть выдумкой».

— Да, еще он просил поздравить тебя с наступающим днем рождения. Знает ведь, помнит. Скорее всего, потому что день твоего рождения совпадает с днем смерти Баха и Вивальди. Да, они умерли в один день. Мартынов сказал, что такие совпадения случаются у гениев.

За время рассказа Ольги в стаканчике Ерёмина не убыло ни капли, слишком велико было потрясение от услышанного.

— Ну и как он, Антон то есть, как он выглядит? — попытался прийти в себя Ерёмин.

— Как... Чем-то похож на тебя, только волосы подлиннее. Да вот. — Она в очередной раз заглянула в свою сумку и достала оттуда программку лейпцигского концерта. На первой странице был портрет маэстро, правда, исполненный в технике, как это называется у специалистов, мокрой маски.

— Очень похож, — усмехнулся Ерёмин.

— Кстати, интересно, а что такое абсолютный слух? — Ольга решила увести разговор в сторону.

— Что? — не сразу понял он вопроса. — Ну, это когда в многоголосии оркестра, к примеру, какой-то инструмент берет вместо ноты ми диез ноту фа.

Ольга посмотрела на него с недоверием: шутит, разыгрывает?

— Это что, тест такой?

Ерёмин расхохотался, чтобы разрядить обстановку, причем в первую очередь для себя самого.

— И что, ты действительно знаешь, что ми диез и фа — это одно и то же? Откуда, дитя больничных коридоров?

— В школе учили, — сухо ответила она. — Может, у меня к ноте ми особое отношение, как думаешь, бывает? Я, например, очень люблю сонату Баха для флейты ми минор.

— И что же там такое в ней тебе нравится?

— Да я ведь не знаю, как говорить про музыку, чувствовать — это другое дело. Не все же чувства можно выразить словами. А здесь как бы вся жизнь: и философская глубина с неторопливыми раздумьями, и напряженная страсть, взывающая к действию, к поступку, и разрядка после напряжения, легкость, веселость и даже какая-то беззаботность... И флейта творит чудеса, не всякому мастеру под силу.

Ольга, выговорив все это, смутилась, а Ерёмин воскликнул про себя: ого! Вслух же сказал:

— Темнишь, дорогая! Такие познания, пусть даже на чисто чувственном уровне, редко встретишь у комнатных меломанов.

— Или в больничных коридорах, — припомнила ему. Но это так, вылетело автоматически, сердце услышало другое: он впервые назвал ее дорогой!

— И все-таки, — не отступался Ерёмин, — откуда такие познания? Специальный предмет в средних и высших учебных музыкальных заведениях — музлитература — довольно непростой против того, как может показаться на первый взгляд.

— Да с помойки все, — с небрежением ответила Ольга, — и пластинки, и литература, в том числе специальная. Чего там только нет!

— С помойки, — повторил следом Ерёмин с некоторым разочарованием. — Там и художественная литература есть?

— Да сколько угодно, ее-то как раз больше всего.

— Представляю, каково какому-нибудь Шекспиру перекочевать из элитного книжного шкафа в соседи к картофельным очисткам... Может, тебе когда попадетсЯ Бунин, мне нужен четвертый том из восьмитомника, исчез куда-то. Люблю Бунина. — И повторил еще раз: — Помойка!

Помолчали, прошлись еще немного, вышли к речке, торопливо убегающей в никуда.

— И что он, Антон-то, ну, говорили вы еще о чем-нибудь?

Известие о знаменитом однокурснике не отпускало его.

— О чем могут разговаривать двое практически незнакомых людей? Спросил про город, не собираешься ли ты переезжать, про семью, про работу.

— А ты что?

— Сказала, что у тебя все хорошо, что руководишь большим академическим хором.

— Хм! Классный ответ! — то ли одобрил, то ли удивился в очередной раз.

После парка они поехали по известному адресу, где светливая собачка и вечный живой портрет соседки в окне.

Сын Ольги заявил с твердой решимостью, что не желает жить с родителями. К тому времени он уже окончил институт и успел сменить несколько мест работы.

— Гонору много — умения и терпения нет, — отозвался о его непостоянстве отец.

Ольга в очередной раз одобрила решение сына.

— Правильно, под родительским крылом взрослому мужику нечего делать. Вот станет один жить — все и определится: и отношение к работе, и мысли о своей семье, девушка появится постоянная, а то все квочки на ночьку. Не-ет, с мамкой-папкой не вызреть плоду.

— Какой я вам плод! — возмутился сын.

— А такой, незрелый, еще чуть — будешь вечно зеленый. Вон у отца друга Кильдеева сын постарше твоего будет лет на пять, и что? Сидит, задница с табуретки сползает, ни жены, ни дочки.

— Ладно, — решил прервать разговор отец, — жить ему все равно негде, какая тут самостоятельность?

— Квартиру сниму, — буркнул сын.

— Ага, на чьи, интересно, деньги? — язвительно поинтересовался отец.

— Никаких квартир, — вмешалась Ольга. — Оформим ипотеку, ты на себя оформишь, — ткнула пальцем в мужа. — И первый взнос из своих машинных накоплений сделаешь. — И заключила, не обращая внимания на протестующий жест хозяина дома, с необыкновенной резкостью: — Сделаешь, как миленький!

— А военным ипотеку не дают, — зацепился он за последнюю возможность уйти от решительных действий.

— Вот прямо завтра я все про то и про это узнаю. Между прочим, ты не военный, а служащий российской армии, есть разница, не мне тебя учить.

Удивительно, никто больше возражать не стал, так твердо и даже агрессивно была настроена Ольга. Об одном она умолчала, самом, пожалуй, главном. О желании как можно скорее увести свое единственное дитя из-под крыши дома, где нет любви, нет ничего, кроме холода и равнодушия друг к другу. И все-таки удивилась неожиданной покладистости мужа: или уже знают?

Примчалась, как всегда, будто ошпаренная, соседка Ирка.

— Слушай, подруга, я, кажется, влюбилась!

— Да ну, неужели? — усмехнулась Ольга.

— Ты знаешь, он такой... ну, в общем, не как все.

— Иначе и быть не может, — с тем же тоном насмешки отозвалась подруга. — Давно хотела у тебя спросить: ты мужа своего любишь?

Ответ последовал незамедлительно.

— Нет, ни вот столечко, — отмерила она самый кончик указательного пальца.

— А он тебя?

— Конечно, а как же!

«И ни тени сомнения!» — подумала Ольга, а вслух произнесла:

— Ну, хоть так, хотя бы половинка любви в доме присутствует.

— Ты же меня знаешь, подруга, у меня сердце большое-пребольшое, может случиться, я и мужа когда полюблю. А пока... Пока оно на волю рвется, сердце мое... Кстати, у меня завтра день рождения, отмечать его начала уже сегодня в группе здоровья. Завтра будет продолжение на работе. Как всегда, накануне сего грустного праздника пытаюсь определиться со своими желаниями! А вдруг прилетит волшебник и их исполнит!

— Да хорошо бы! В голубом вертолете, да?

Они обнялись, и вдруг ни с того ни с сего Ирка заплакала.

— Слишком часто в последнее время я стала плакать. Что или кого оплакиваю? Жизнь? Любовь? Невстречу? Лежит что-то тяжким грузом на душе, и только недавно поняла: Невысказанное. Ведь можно же было — тому, этому, третьему, а нет, такого еще не было, чтобы до конца, до донышка... Ну все, полетела пироги стряпать.

## Лига — знак, объединяющий ноты

Год прошел, другой, третий и еще несколько. Ольга и Ерёмин встречались теперь на квартире у Ерёмина, впрочем, не так часто, а больше в гостиницах, которых (на час, на два, на день) развелось в городе множество. Ольге было все равно, лишь бы видеться почаще, а Ерёмин зачем-то оберегал свой статус холостяка. От кого, для кого? Сам бы толком не нашелся что ответить.

За это время Ольга объездила пол-Европы, побывала и в Париже с твердым намерением отыскать Антона Мартынова. Увы, того не случилось дома, уехал на гастроли. Что до совместной поездки с Ерёминым, тот отказался наотрез, видимо, из того же желания оставаться на людях в одиночестве.

Ерёмин все не забывал ту девочку с испуганными агатовыми глазами, испуганную же ее мать. И сам не мог понять, что же такое обращало его к ним вновь и вновь. Он приходил в их бедную квартирку, трогал клавиши старенького пианино и всякий раз отказывался от денег. А однажды сам предложил их. Случилось это так. Девочка окончила музыкальный колледж с красным дипломом. Ерёмин приходил на выпускной концерт, где в числе прочих произведений звучал пятый концерт Баха ре мажор из Бранденбургского цикла, а партию фортепьяно исполняла девочка-сероглазка. Через несколько дней Ерёмин пришел к ним домой с букетом белых роз и сказал, что имеет полномочия от некоего благотворительного фонда, который помогает талантливым детям продолжать учебу. Было бы нелепо предполагать, что женщина или девочка возьмутся выяснять, что это за фонд такой замечательный. В общем, деньги для поездки в Москву и на первое время проживания в столице были собраны,



и девочка поступила в консерваторию. Ту самую. И вот через год она уже окончит учебу, все это время Ерёмин посылает ей деньги, якобы из фонда.

Еще тогда, после выпускного концерта, после провадин будущей студентки в столицу Ерёмин почувствовал в себе какой-то подъем, какой-то новый источник силы, энергии. Порой ему казалось, что и мир вокруг него как-то изменился.

Дочь вышла замуж за бизнесмена, уехала в Калининград и в его помощи больше не нуждалась.

Объявился племянник, который всегда возникал внезапно. Сказал, что затеял что-то вроде развода, надоело все, кризис.

— Тридцать пять лет, представляешь?! Квартуру купил, дом в деревне построил, второй достраиваю, детей родил — и все, некуда двигаться дальше, незачем. Не слышно отзвука близкого человека. Тут как-то вышел к кромке бора: эх, лечь на землю, надышаться! Лег — а она ничем не пахнет! А раньше пахла... — И тут же взбодрился. — Смотрю, живешь как-то весь в прошлом. Ты когда в последний раз себе джинсы хорошие покупал?

— А я не уверен, что я их вообще хоть когда-нибудь покупал, зачем?

— Давай тебе бизнес организуем, я оплачу все начальные расходы — и вперед.

— Не хочу, мне и так всего хватает.

— Даже не спросил, что за бизнес.

— Неинтересно, потому.

Прощаясь, усмехнулся:

— Встреча прошла при глубоком взаимопонимании. Хорошенько подумай, прежде чем разводиться. Лучше не найдешь, его попросту нет, лучшего.

Ерёмин не живет в прошлом и не помышляет о том, однако оно, прошлое, гоняется за ним. Включил телевизор, по каналу «Культура» передают новости музыкальной жизни.

— «Music for two» — это инновационный и единственный пока в своем роде проект в области звукозаписи. Он объединяет барочную, классическую, романтическую и современную музыку в исполнении двух скрипок. А реализуют его болгарка Кремена

Николова и русский Антон Мартынов, которые в конце сентября в первой студии БНР впервые представили свою программу перед публикой.

— Ну и что, ну и ладно, — заключил предполагаемый диалог Ерёмин.

Шло время. Ерёмин не заметил, как изменился в отношении к Ольге, он сам стал искать встреч с ней, скучал, когда они подолгу не виделись. В какие-то минуты ему даже казалось, что это именно она заполнила пустоту, образовавшуюся после отъезда дочери, после поисков дополнительного заработка, чтобы помочь юной пианистке.

— Скажешь тоже! — окоротил он сам себя, не желая подчиняться глубине чувств в отношении кого бы то ни было. И все-таки...

Приближался его день рождения.

— Давай снимем номер в хорошей гостинице на целые сутки или даже двое. Замкнемся от всего мира и будем праздновать, праздновать, пока... Пока праздник будет оставаться праздником.

— А мысль не так уж плоха, — поддержал предложение Ерёмин. — Наберем продуктов, чтобы носа не высовывать наружу, и устроим кутеж. О! Кстати! Я обнаружил в нашем городе залежи настоящего портвейна. Есть у нас такой бар, точнее, бар-магазин, называется «Муха», можно выпивать прямо на месте, можно покупать навынос. Там чудесный крымский портвейн. Есть, по-моему, даже португальский, но он жестче, нет в нем такого праздника.

— Тебе бы стихи писать, представляю: баллада о портвейне!

— Сюита, — поправил он.

— Да?

— Это мне ближе.

Задумано — сделано. Отель выбрали солидный, не в пример почасовым забегаловкам.

— Я, пожалуй, начну с кальвадоса, — Ерёмин рассматривает на свет бутылку с золотистого цвета жидкостью. — Этот отель называется «Империял», а мне почему-то вспомнился другой

отель, «Энтернасьональ» из Ремарка, где его герои постоянно пили кальвадос. Найти оказалось делом нетрудным, все в той же «Мухе».

— Надо поискать какую-нибудь музыку, — высказала желание Ольга.

— Да, музыку, — согласился он, — причем непременно плохую, этакое музыкальное негодяйство. Вот хочу — и все тут.

— А давай шансон, я знаю, как найти канал.

— Нормально, блатничок в самый раз, а то сюиты, симфонии!

Канал нашли быстро, но блатничка не получилось. Известный исполнитель шансона Михаил Шуфутинский пел грустную песню про свадебного музыканта дядю Пашу, который за свою нелепую (или счастливую?) жизнь «три баяна потерял, два костюма износил».

— А грустить что-то и не хочется! — возвестил Ерёмин. — Знаешь, у меня был друг, ну, так, скорее приятель, поэт Валентин Устинов. У него есть такие строчки:

Я сто печалей разменял,  
А все так просто, все так просто.  
Любите, женщины, меня  
Сегодня,  
Завтра будет поздно.

Мне это стихотворение очень нравилось, мне казалось, что это мое, вот так и надо жить — требовательно, безо всякого завтра. А мало-помалу стал думать, что этак, требуя и ожидая, можно не успеть на свой собственный поезд, попросту опоздать на него раз и навсегда. И случится это не завтра, а сегодня, сейчас. Да и что такое завтра? Фантом, небыль. И прошлым не спасешься, оно оживает, когда приходит старость.

— Да нет никакой старости, о ней больше говорят, вглядываются в прожитое. А почувствовать старость, по-настоящему пережить ее дается далеко не всем. «Я еще молод!» — кричит затухающий разум. «И я!» — вторит остывающее сердце... Я столько лет не договаривала, всегда уходила с мыслью: опять не успела, снова не получилось. А так много хочется тебе сказать! Порой

как сердце рвется к тебе, так и мысли мои, словно птицы, вырываются на волю из клетки, в которую я их сама заперла. Ровно одну минуту видела тебя вчера, а минута словно вместила вечность. Смеющиеся глаза, благородные черты, легкость движений. Римский патриций — мысль, как озарение. Может, ты и был им в прошлой жизни и так же легко шел по странам и судьбам, никого не щадя, завоеывая и оставляя их с радостным упоением. Вечный странник... И уже невозможно остановиться и ничего изменить, и вращается колесо Сансары, где жизнь — искупление, а смерть — начало, где любовь — свет, а человек — отражение этого света. Но высшими силами кому-то из нас доверены светильники любви, чтобы согреть замерзающих и помогать найти дорогу заблудившимся. А еще чтобы твой человек вышел на свет этой любви. Ты так долго не мог разглядеть мой свет. И от того плакала моя душа...

Ерёмин сидел неподвижно, опустив голову на грудь, сложив руки на колени. Пальцы его нервно вздрагивали, будто перебирали клавиатуру.

— Видишь ли, я все время шел по жизни, не наблюдая людей. То есть их существование рядом и вокруг казалось мне излишним. Я, разумеется, не давал себе отчета в этом, осознал намного позднее... Люди разбросаны, как деревья на вырубках. Новых в поле зрения не появляется, старые знакомые исчезают с какой-то невероятной скоростью. Все реже лес, все больше пустот, зарастающих мелкоколесьем, чапыжником, какой-то цепкой ползучей травой. — Ерёмин тряхнул головой, усмехнулся. — И вот я повторяю вслед за Камю: «...я впервые раскрываюсь навстречу тихому равнодушию мира...»

— И что? — Ольга выжидающе посмотрела на него.

— Знаешь, как заканчивается фраза? «И пусть они встретят меня криками ненависти».

— Ты, ей-Богу, как то дитя, которое кормят с ложечки вкусной и полезной кашкой. А дитя кричит, упирается, не желает подчиняться. И только потому, что хочет характер показать, самостоятельность проявить. Какая ненависть! О чем ты?! Все мы рождаемся и умираем тысячи, а может, миллионы раз. Но всякий раз забываем, зачем снова и снова приходим на эту Землю... Что же

так тянет возвращаться сюда из невесомого блаженства Второго неба — этого райского пристанища мятущейся души? Ангел мой, ты наверняка знаешь ответ на этот вопрос. Знаешь, дорогой, а я иногда пишу своему Ангелу письма, не отвечает, но становится легче. Каждый из нас несет миру свое послание — послание любви. Могут быть разные адресаты, послание может быть зашифровано, говорить и писаться на разных языках, может быть легким объятием или прикосновением, может быть чередой безумных страстных ночей или благостным молчаливым присутствием рядом с любимым. Может быть одним словом или взглядом. А еще может быть молчанием... Это неправда, что когда люди далеко, они не могут общаться, во сне общаются наши души, и этого им никто запретить не может... Интересно, сколько раз за свою жизнь ты любил по-настоящему, а не выдумывал любовь? Мою любовь я сочинила сама, облекла в словесную форму, научила ее делать первые несмелые шаги, преодолевать разные страхи. И все, она вырвалась на волю, вышла из-под нашего контроля и стала жить своей жизнью, радуясь и бунтуя против воли творцов, решивших, что и эта история любви когда-нибудь закончится и, может быть, пора ставить точку. Но, пожалуй, прав был Виктор Гюго, сравнив любовь с деревом: «она вырастает сама собой, пускает глубоко корни во все наше существо и нередко продолжает зеленеть и цвести даже на развалинах нашего сердца». И я бесконечно благодарна ей за это цветение, за то, что, благодаря и вопреки, я научилась проявлять любовь, говорить о ней, выражать свои чувства, научилась дарить радость и нежность. Спасибо тебе за это! А также я знаю, да и ты тоже наверняка знаешь, что наши Ангелы берегут нас от опрометчивых шагов. А еще от самих себя...

Это была одна из немногих ночей, проведенных ими вместе за все время знакомства. И первая, до краев наполненная восторгом и слезами.

— А мне приснился сон.

— И когда ж ты успела его увидеть? — усомнился Ерёмин.

— Так говорят же: сны длятся секунды, а вбирают в себя вечность... Я стою на крутом берегу, над самым обрывом. Внизу, там, где покрытый скудной растительностью отвесный берег

упирается в песчаный откос, несет холодные, тяжелые воды Обь, она притягивает, завораживает своей мощью. Как притягивают, манят бескрайние заобские просторы, протоки, забоки, луга. Так и хочется расправить крылья и полететь или крикнуть: «Прости нас за грехи, задумчивая вечность!» Когда-то давно здесь, на крутом берегу, наши прадеды похоронили первых старожиллов села. На самом высоком месте! Может, для того, чтобы душе было легче оттолкнуться от земли и полететь!? Старики были мудрее нас.

К концу второго дня, когда они уже готовы были к выезду из гостиницы, Ольга спросила:

— Ты ничего не заметил?

— А что я должен был заметить?

— Да вот. — Она взяла его руку и приложила к груди. — Чувствуешь?

— Шишка небольшая, я и не обратил внимания. А что это?

— Это очень плохо. Очень, очень плохо.

— У тебя же доктора под боком, профессора! Что значит «очень плохо»!?

— Успокойся, это я в большей степени паникую. Конечно, доктора разберутся, помогут.

Болезнь развивалась стремительно. Ольга не появлялась полмесяца, ссылаясь на занятость, а когда пришла к нему на свидание, голова ее была повязана туго стянутой косынкой на манер банданы.

— Наголо подстриглась, решила похипповать, — небрежно бросила, отвечая на вопрос Ерёмина. А в глазах боль и ужас.

— Химиотерапия, — догадался он, — что, так далеко зашло?

— Не знаю, куда там зашло, я собираюсь в Грецию, на Афон.

— Какая к черту Греция! Лечиться надо, в Москву поедешь, в лучшую клинику. Я деньги найду, я... Я не могу собрать в кучу всю фантазию, чтобы вообразить, как мы с тобой будем счастливы! Какая из нас выйдет пара! Я за тобой буду тянуться и стану многократно лучше, я горы сверну с таким стимулом. Я не придумываю сказку, я знаю о прошлом и еще не случившемся всё. Ты даешь мне силы, ты даешь мне свет. Я всех хочу послать к самой далекой дальности — так мне хватает тебя одной. Ты весь мой мир. Со мной давно такого не случалось. Ты, может, бо-

ишься моих слов, а я долгое время боялся своих чувств. Честное слово, я не разучился чувствовать. Я люблю тебя, и это слишком серьезно!

— Да, мой милый, да, но всякой сказке приходит конец. Ты знаешь, какая мысль пришла мне сегодня в голову. Мне кажется, на пороге жизни и смерти человек может понять, кого он по-настоящему любил в этой жизни, но это он уже не умом понимает, а каким то шестым чувством. И на самом деле его уже занимает мысль, кого бы он хотел там встретить. Здесь это просто не осознается, а там эта встреча обязательно происходит, я в этом уверена. А еще, но это сказал кто-то умный до меня, что когда человеку говорят: «Я тебя люблю», он не умрет, пока любящий его будет жить, потому что любовь дарует бессмертие.

— Мы даже не догадываемся, сколько с собой уносят наши близкие! И сколько оставляют! Мое изношенное сердце очень долго молчало, когда я слышал слова любви. Я уже говорил, что это инструмент, из которого могут извлечь звуки или хотя бы отголоски очень редкие исполнители... Ты выздоровеешь, ты не имеешь права не поправиться.

## Кода. Финал

За окном сентябрь, месяц, который Ерёмин всегда считал своим. В эти дни он пытался жить — как хочется. Правильнее будет — проводить время. Увы, нынче не получается, и потому грустно немного. Может, оттого что появилось в его сегодняшней жизни одно новое обстоятельство, и сформулировал он его для себя следующим образом: я, как никогда, открыт любви, открыт каким-то загадочным и трудным эфирам, которые обычно редкость и — довольно часто — не предмет вольной природы, а насилие над собой. Это непередаваемое чувство! А жизнь не дает ему выйти из меня, вырваться наружу, на волю вольную! Впрочем, в сентябре иногда бывает настолько же плохо, насколько хорошо. Сейчас как раз такой сентябрь. Эмоциональные качели. Отчего это, что это? Осень, ощущение уходящего лета и неизбежность зимы...

Есть теория, что ближе к дню рождения человека нарастает напряжение, завершается какой-то очередной цикл, а потом все начинается заново. Однако свой рубеж Ерёмин уже прошел, а напряжение осталось. Не сходится что-то в этой теории.

Уже два месяца они не виделись, и Ерёмин не находил себе места, не зная что предпринять. Увы, в этой ситуации он был бессилен. Телефон молчит, домой к ней поехать нельзя, ни общих знакомых, никаких даже мимолетных контактов с кем-то, кто мог бы хоть что-то сказать о ней. Впрочем, за все это время была одна СМС-ка. «Мне бы очень хотелось, чтобы любовь, которая живет в тебе, приносила тебе только радость. А сколько она будет длиться? Кто знает... Может, тебе будет легче, если ты убедишь себя, что я твоя фантазия, сон, бесплотный призрак, до которого дотронешься неосторожно — и он исчезнет. И ты этот сон не пытайся продлить, ведь пробуждение может быть болезненным. Знаешь, сейчас подумала, в тебя можно влюбиться только из-за одного твоего запаха... Это как у зверей. Я-то уже не могу вырваться из твоей любви. Не помню где, но читала и мне понравилась эта мысль: «Случившееся опустошает, а неслучившееся остается с нами навсегда». Но это кто-то сказал, а мы чувствуем по-своему и каждый день как-то иначе. Зачем мы с тобой встретились? Ты не задавал себе это дурацкий вопрос? А так у меня все хорошо. Только хочется тебя поцеловать и прижаться, как тогда... Когда? Наверное, приснилось».

Голос пропал. Совсем. А душа кричит, взывает. Вот сейчас она последними усилиями вытолкнет из себя крик, и плевать, что услышат те, кому не надо это слышать. Она будет кричать так громко и так долго, что он все равно услышит, отзовется. Но ни звука не выходит из пересохшего горла, и руки уже не поднять, чтобы нащарить телефон, набрать знакомый номер. После той прогулки к замерзшей речке она уже не поднималась, последние силы, как комочек, в котором сосредоточились остатки духа, скатились в пропасть, в никуда. Запомнилось, как врач, объясняясь с мужем и сыном, развел руки в стороны: мы уже ничего поделать не можем.

Проходя мимо одного из старых домов в центре города, той еще, сталинской постройки, Ерёмин услышал через приоткрытую



форточку звуки ненавистной ему песни «Утомленное солнце». Что-то в ней вызывало отвратительный потяг, будто саму душу его пытаются вытащить из него. Наверно, дело в том, что он, разбирая источники специалистов по биографии Вивальди, наткнулся на заметку, будто великому итальянцу принадлежит «Танго смерти», мелодия, под которую якобы расстреливали евреев в концлагере Яновский. Да, установлено, что в этом лагере действительно был оркестр, который играл часами одну и ту же мелодию, пока происходили расстрелы и издевательства. Но эта мелодия утеряна, сохранились 8 тактов, и предполагается, что это вариация на тему танго «Остатня недзеля», оно же наше «Утомленное солнце». Впрочем, и это всего лишь предположение. Исследователи «Танго смерти» называют совсем другую мелодию. Это кончерто грассо для струнного оркестра Palladio, которое написал современный английский композитор Карл Дженкинс. Между тем в этих сегодняшних случайных звуках он уловил некий знак, промысел, сигнал. Выстрелом прозвучали негромкие ноты.

Через несколько дней в дверь к нему позвонили. На пороге стояла незнакомка в дорогой шубе, абсолютно неуместной для весенней оттепели, чересчур вызывающе крашенная, чем-то напоминающая цыганку.

— Вам просили передать.

С этими словами она сунула ему в руки пакет и, резко повернувшись, опрометью бросилась вниз по лестнице.

В пакете он обнаружил маленькую флейту в чехле из военной палаточной ткани, самоучитель и записку. Судя по всему, ее писали не в один присест, чернила разные, почерк то ровный, то едва разборчивый. Но сомнения никакого — это писала она.

«Ты птица... Я хочу на волю... Там у бабки на кухне горит что-то. Чёрт с ним, пусть сгорит совсем... Хочу на волю, хочу раз в неделю становиться птичкой и улетать, улетать... Чтобы увидеть тебя... Я жива, потому что жив ты... У меня ... Меня колют и таблетки дают, чтобы я двигалась, как зомби... Сколько ты дал мне откровения, отчаянья и надежды, сколько жизни и любви, отвоеванных у вечности! Ведь даже самое мимолетное чувство

оставляет свой след в душе и наполняет радостью сердце. Сердце... Знаю, многие познавшие радости любви знают и что такое боль, и чтобы бежать от нее, каленым железом выжигают свои чувства. Но пусть лучше будет больно, зато в самых потайных уголочках сердца продолжают гореть чудо-светильники, которые то еле видны, то снова разгораются от легкого дуновения самого загадочного и целительного ветра на свете, имя которому Любовь».

Это все, — понял он, еще не разворачивая тетрадный листок.

Он пришел к директору санатория и попросился, чтобы его приняли хотя бы на неделю за собственный счет, безо всяких направлений.

— Вам повезло, — сказал директор, — федеральные квоты на прошлый год исчерпаны, новые еще не поступали. Свободные комнаты есть.

День, другой он ходил по территории, заглядывая во все санаторские уголки, возвращаясь в свой номер лишь к ночи. На третий день, испытывая волнение, тревогу, трепет, он спустился к источнику. Постоял чуть поодаль, затем подошел к самой воде и рухнул на колени.

— Несумненная и Единственная моя Надежда... Прости, прости! Пречистая!